

Екатерина СТЕЦЕНКО

ВОСПОМИНАНИЯ  
(фрагменты)

Ekaterina STETSENKO

MEMOIRS  
(fragments)

В 1973 году [...] я возобновила знакомство с «Вовой московским»<sup>1</sup>, к тому времени кандидатом филологических наук, работавшим младшим научным сотрудником в Институте востоковедения РАН. У нас нашлось много общих интересов, мы переписывались три года (год из них он провел переводчиком на выставке в Японии, откуда привез мне почти целое собрание сочинений У.Фолкнера на английском языке), летом 1976 года мы решили пожениться.

Уезжать было очень тяжело, я была привязана к Киеву, хотя мне не нашлось там достойного места. Подобно Булгакову (нахальное сравнение, но у нас с ним еще были наследственные почечные болезни), в 30 лет я покинула киевские овраги и весны и отправилась в Москву, в чужой, огромный город, в чужую семью и в полную неопределенность, имея за душой только неотшлифованный текст диссертации. Но, в отличие от Булгакова, в Киев я приезжала по два-три раза в год, после смерти родителей – не менее одного раза, обычно на майские праздники, когда цветут каштаны, яблони и сирень в Новом ботаническом саду.

Поскольку Вова с родителями жили в двух смежных комнатах у Сокола, три года нам пришлось снимать сначала трехкомнатную квартиру в Беляево, потом однокомнатную – на юго-западе. С хозяевами второй квартиры произошел забавный казус – когда мы при первом знакомстве дали им свои паспорта, мужчина захотел и показал мне свой паспорт на имя Стеценко

---

<sup>1</sup> Владимир Михайлович Алпатов, лингвист, д.ф.н., член-корреспондент РАН. Родился в семье историка и писателя М.А. Алпатова и историка-медиевиста, византиста З.В. Удальцовой. – *прим. редакции.*

Николая Александровича, кстати, его дочку звали Катей. Прямо по Ильфу и Петрову – здравствуй, брат Коля! Бывают же такие совпадения.

Мне нужно было устраиваться на работу, и мое трудоустройство целиком зависело от Вовиной мамы, Зинаиды Владимировны Удальцовой. Велись поиски, но никаких предложений не поступало, и я сидела дома за машинкой, завершая диссертацию. Кое с кем из московских американистов я была шапочно знакома, так как в 1975 году приезжала на конференцию на факультете журналистики, которую устраивал его декан Ясен Николаевич Засурский, но личных контактов не имела.

Зимой 1976 года Зинаиду Владимировну избрали членом-корреспондентом АН СССР (тогда она была зав. сектором Византии в Институте всеобщей истории). В советское время академики и член-корры считались элитой и номенклатурой, им полагались квартиры и распределители, в том числе еженедельные «заказы» в специализированной столовой на Ленинском проспекте. Социальный вес их был велик, особенно в Академии, ведь они обладали правом голоса на академических выборах. Банкет по поводу избрания, который свекровь устроила совместно с вновь избранным академиком Бромлеем (внуком Станиславского), был моим первым московским выходом в свет. Неожиданно для себя я имела большой успех, так что даже жена Бромлея, Наталья, посоветовала своей дочери держаться поближе ко мне в надежде, что ей может перепасть кто-то из моих поклонников(!?) (со временем Елена вышла замуж за англичанина и стала матерью талантливого сына-певца, естественно, без моей помощи). Это вызвало у меня внутренний смех, но я поняла, что существует среда, вкусам которой я соответствую больше, чем на своей родине.

Возможности и авторитет Зинаиды Владимировны значительно расширились, и один из чиновников Академии, метивший в ее члены, предложил свекрови устроить меня в Институт мировой литературы. О том, чтобы стать сразу научным сотрудником (а не секретаршей с неясной перспективой или переводчиком) в ведущем институте по моей специальности, я, естественно, никогда и мечтать не могла. Мечты об английском престоле были для меня не более реальными. Это было элитарное заведение, куда во времена «застоя» случайным людям попасть было очень сложно. Там работали Аверинцев, Гаспаров, Палиевский, Урнов, Мелетинский, Виппер, Олег и Александр Михайловы, Кожинов, Балашов и многие другие корифеи науки о литературе, кроме того институт пользовался популярностью у получивших филологическое образование детей писателей и номенклатуры. Работали там и талантливые люди, «сами себя сделавшие», но, как правило, они закончили МГУ, долго работали в Москве, печатались и сумели себя зарекомендовать. Я же была в начале пути, «из провинции», и никто меня не знал. Разумеется, свободных вакансий не было, и для поступления туда на работу должны были выделить специальную единицу сверху.

С одной стороны, это было для меня необыкновенным счастьем, с другой – я понимала, что в этом есть элемент наглости, я становилась в один ряд с нелюбимыми мною блатными девицами, поэтому попросила свекровь, чтобы меня устроили сначала простым техническим работником (с тем, чтобы после защиты со временем заслуженно перейти в научные сотрудники). Она очень удивилась и меня просто не поняла. Ситуация несколько смягчалась тем, что моим руководителем формально был Дмитрий Владимирович Затонский, а он за год до моего приезда в столицу жил в Москве и был заведующим зарубежным отделом – однако квартиру ему так и не выделили, его отношения с новым директором Ю.Я. Барабашем не сложились, и он вернулся в Киев. Мое устройство длилось довольно долго, я ходила на собеседования к Барабашу, потом его сменил и.о. В.Р. Щербина, потом присланный из ЦК Г.П. Бердников (Собакевич партийного разлива). Особенно меня удивил разговор с Барабашем, который сказал, что не может мне обещать большую зарплату, квартиру и заграничные поездки (интересно, за кого он меня принял?), хотя я согласилась бы с превеликой радостью мыть в ИМЛИ полы, причем даром. Наконец в мае 1977 года я стала младшим научным сотрудником Отдела зарубежных литератур, точнее, американской группы «капиталистического» сектора. Отделом заведовал Николай Иванович Балашов, нашим сектором – его однофамилица Тамара Владимировна Балашова, группой – на общественных началах декан факультета журналистики МГУ, профессор Ясен Николаевич Засурский. В американскую группу входили Майя Михайловна Коренева, Алексей Матвеевич Зверев, Татьяна Леонидовна Морозова, Сергей Александрович Чаковский (сын писателя), параллельно со мной, тоже со своими единицами, пришли Александр Владимирович Ващенко (родившийся в Америке сын военного атташе) и Андрей Михайлович Шемякин (сын известного покойного академика-химика).

Итак, я попала в ту среду, в которую всегда стремилась, в среду московских интеллигентов-гуманитариев, профессионалов, где я могла надеяться на то, что меня воспримут адекватно, где я, наконец, стану «своей». Я устала быть всегда белой вороной. Меня очень беспокоило, смогу ли я соответствовать высокому профессиональному уровню, ведь я была во многом «кустарем-одиночкой», оторванным от научной среды. Очень ограниченным был и мой опыт «светского» общения. Надежда была на то, что интеллигентные люди всегда доброжелательны и готовы видеть в окружающих лучшие качества (а уже затем разочаровываться, если человек оказался недостойным). Все оказалось гораздо сложнее.

Встретили меня далеко не с распростертыми объятиями. С моей точки зрения, моя история выглядела так – серьезная девочка из интеллигентной семьи, получившая красный диплом, по независящим от нее объективным обстоятельствам не смогла поступить в аспирантуру, но все же написала диссертацию и благодаря повороту судьбы получила, наконец, возмож-

ность заняться любимой профессией в соответствующем институте. Однако, как я и предполагала, с точки зрения моих коллег это выглядело иначе – наглая провинциалка выскочила за москвича, родители которого сумели ее по благу впихнуть на место, которого она не заслуживает. Никто не был против таких же «блатных» Ващенко и Шемакина – их знали, они учились в МГУ, они были «своими». Меня же никто не спросил, где и как училась я, да это было и неважно, так как, по мнению москвичей, серьезное образование можно было получить только в Москве или в Ленинграде. Никто не поинтересовался, почему я оказалась соискателем у Затонского – и так все понятно, он любитель смазливых барышень. Абсолютный парадокс – дети московских профессоров, жизнь которых скользила, как по маслу с гарантированным поступлением в университет, аспирантуру, ИМЛИ – считали выскочкой человека, никогда не имевшего никакой солидной поддержки. «Мы вас не знаем». А как можно было меня знать, если я училась в другой республике, в другом городе? У меня не было публикаций, но кто бы без протекции взял мои статьи в московские журналы? Даже в Киеве Т. Н. Денисовой удалось пристроить только одну мою статью, ведь везде была очередь. Разве учиться в Киевском университете – это преступление, закрывающее двери во все московские институты? Люди, которые так говорили, думали только о том, что я им не нужна и что меня здесь и сейчас не должно быть, и, конечно, никто не думал о том, что же я должна была делать в чужом городе и где то место, которое было «моим». Иной взгляд был у Тамары Наумовны Денисовой: она решила, что поворот моей судьбы – свидетельство того, что «Бог есть», и «иногда он помогает достойным людям».

Я с удивлением поняла, что представления многих москвичей о мире весьма специфичны. Раньше в России судьба разных городов в целом была одинакова, везде была своя интеллигенция, свои университеты, гимназии, профессура, учителя, врачи высокого профессионального уровня. Наши родственники жили в Киеве, Москве, Петербурге, Харькове, Полтаве, Владивостоке, Ташкенте, даже в Новозыбкове. Все они были в разной мере интеллигентами, никому бы и в голову не пришло презирать «провинциалов». В советское время, разумеется, везде стали доминировать люди иной формации, но везде оставались свои «бывшие», да и выросли вполне достойные «настоящие». Москвичи поразили меня узостью кругозора, незнанием жизни страны и неприятием всего «чужого». И грешили этим вовсе не арбатские старожилы, а москвичи во втором или первом поколении, принадлежащие к советской культуре, где вес человека, как правило, определялся внешними атрибутами – должностью, званием и, в том числе, престижным местом проживания, а именно – Москвой или, в крайнем случае, Питером. Для меня провинцией были Нежин, Житомир, Осташков или Торжок, для них – все, кроме, пожалуй, Питера. О жителях Киева

они почему-то судили по членам украинского политбюро, «радянським письменникам» и базарным торговкам. Для неоспоримых специалистов, как Затонский или профессор КГУ Т.К. Якимович, делалось исключение, и к ним относились с сочувствием как к вынужденным прозябать в провинции, ведь все от Калининграда до Владивостока мечтают о Москве, и только там должны жить интеллектуалы. В целом же любая киевлянка автоматически считалась «киевской мещанкой». Раздражали моя неизбежная южная мелодика речи, хотя у меня был культурный русский язык, без вульгарных «геканий» и «оканий». Никакой своей культурной неполноценности я никогда не ощущала. Ежегодно в Киеве гастролировали все известные музыканты и театры, да и наша опера и Русская драма были вполне на уровне. Действительно, многие культурные люди, прежде всего причастные к искусству, стремились вырваться в Москву, но это было вызвано идеологическим гнетом, который на Украине намного превосходил московский. Вот в этом Киев на самом деле (как и прочие нестоличные города) был провинцией, где начальство хотело быть «святое Папы Римского», и таков закон любой империи. Москва была центром притяжения, что не означало полного отсутствия интеллектуалов в других местах.

С подозрением отнеслись и к моей диссертации, но все же не могло быть и речи о том, чтобы я защищалась в Киеве, где меня знали лучше. Сотрудник ИМЛИ, защитившийся на стороне, навсегда бы испортил свою научную репутацию. Творческой нагрузки мне поначалу не дали, прикрепив к «реферативной группе», куда ссылались неспособные к творческой работе сотрудники, где я писала рефераты по новым иностранным книгам. Это у меня пошло так хорошо, что меня заметил даже академик-секретарь М.Б. Храпченко, и появилась идея сделать меня руководителем этой группы, главным образом, как я считала, для того, чтобы от меня избавиться в Отделе. Слава Богу, мне удалось отбиться. Неоднократно руководство втолковывало мне, что, несмотря на то, что у нас один присутственный день, я должна дома работать ежедневно, иначе не сделаю план. Почему-то во мне подозревали бластную бездельницу, устроившуюся на теплое место, куда можно «не ходить». Я же сидела в библиотеках с утра до ночи, даже моя близорукость от напряжения увеличилась на одну диоптрию. Наконец мне поручили первую статью в коллективный сборник по американской литературе по теме, которую считали для меня посилойной – о документальной литературе. Она удалась, меня похвалили. Потом я написала статью в киевский сборник о современном романе, что приятно удивило мою зав. сектором, поначалу заподозрившую, что я решила заработать деньги за одну и ту же статью и отдала «документ» еще и в Киев. Пришлось подарить ей статью на украинском языке и тем самым разубедить. Доверие ко мне стало расти, заметили мою пунктуальность и исполнительность и назначили ученым секретарем сектора. В 1978 году я успешно защити-

лась (в восхищении от моей работы была Е.Ф. Книпович), чем очень обрадовала маму, так как стали сбываться ее мечты о моей научной карьере; гордился мной и папа.

Муж мой был во всех отношениях человек неординарный. Мне как-то не очень везло с родственниками и друзьями, с которыми у меня не было особого взаимопонимания, но зато самые главные люди в жизни, мама и муж, оказались людьми уникальной интеллигентности, благородства и доброты. Вова к тому же обладал незаурядными способностями и феноменальной памятью, был энциклопедически образован и невероятно трудолюбив – вся его жизнь была сосредоточена на науке. Однако в быту, который мало его интересовал, он проявлял полную беспомощность, и мне пришлось взять на себя все жизненные проблемы.

В конце 1979 года родители мужа переехали, а нас с мужем оставили на Второй Песчаной, в старой квартире. Так у меня впервые появился собственный дом, который я могла обустроить по своему вкусу. Несколько месяцев ушло на капитальный ремонт, квартира была запущенной, пришлось убирать в стену трубы, делать внутреннюю проводку, менять сантехнику и плитку, но главной заботой была мебель – от родителей осталась только старая кровать с горбатым матрасом. Купить в 80-м году в магазине хоть что-нибудь приличное было совершенно невозможно, запись на стенку и кухни была на несколько лет вперед. Но нам повезло. Одна сотрудница, Лида Сазонова, отдала мне свою очередь на немецкую стенку, которая ей уже была не нужна, а с кухней же вообще произошло чудо. Мы зашли в специализированный магазин, чтобы сориентироваться в перспективах, и там встретили бывшую Вовину соученицу, которая приехала с уже полученным талоном за кухней, которая ей не подошла, и талон тут же передали нам. Причем, это была именно приглянувшаяся мне чешская зеленая кухня. Спальню купили без проблем, так что довольно быстро вся квартира была обставлена – получились спальня (в алькове)-кабинет и гостиная-кабинет, так как в обеих комнатах стояли письменные столы. Почти всю обстановку мы сохранили на всю жизнь, потом добавились только полки и книги из Киева, пианино, книжные шкафы, картины и лампы от Вовиных родителей. Их историческую библиотеку мы передали в МГУ, а часть библиотеки Ирины Владимировны – в Педагогический институт. Окна нашей квартиры выходят прямо на сквер с каштановой аллеей, такой близкой киевской душе, рядом еще три парка, а троллейбусом за полчаса можно доехать до Серебряного бора.

Уютно я себя чувствовала и в институте на Поварской улице, в особняке Жилярди, дворянской усадьбе князей Гагариных, где одно время жила дочь Пушкина, Мария Гартунг, а в соседнем особняке Пушкин впервые читал «Полтаву» (украинские ассоциации). Почти напротив был Дом литераторов, кругом – посольства в купеческих особняках стиля модерн, Гнесинское училище.

Из моей киевской «бесприютности» я попала в центр московской литературной жизни, в присутственные дни обедала в Доме литераторов, сидя в Дубовом зале за соседним (а то и за одним) столиком с людьми, о которых раньше только читала в газетах и которых видела по телевизору. Среда в ИМЛИ была научной, но в тоже время полубогемной, многие сотрудники были членами Союза писателей, со мной в одном отделе работали Виктор Ерофеев и Святослав Бэлза, будущий модный писатель-постмодернист и телеведущий, «народный артист». Красавец, светский лев и бонвиван Слава был ученым секретарем отдела, впоследствии, когда он ушел в более престижные и денежные сферы, я заняла его место. Моя жизнь резко изменилась, менялась и я. То, что принималось окружающими за провинциальную закатость, а на самом деле было доставшимися от отца замкнутостью и застенчивостью и следствием моего вечного одиночества, постепенно смягчалось. Появилось больше уверенности в себе, я оттаивала, почувствовав растущее доброжелательное отношение к себе и внимание мужского пола. В конце концов я стала «имлийским» человеком, «своей», причем как раз для наиболее импонирующей мне части коллег. Понятие «имлийскости» подразумевало определенный уровень культуры, воспитания и человеческих качеств, преданность науке и институту. Люди, не соответствующие этому уровню, как-то не приживались – или уходили из института, или пользовались недостаточным уважением. Конечно, мои сотрудники были людьми разными, наделенными многими человеческими слабостями и чертами, присущими любой научной и тем более богемной среде. Борьба амбиций и самолюбий, зависть и эгоизм неизбежны в любом человеческом сообществе. И все же я понимала, что после всех мытарств это наилучшее место и наилучшая среда для такого человека, как я, и считала, что мне сказочно повезло. Атмосфера в Отделе была доброжелательной, обсуждения работ проходили очень бурно, иногда высказывались резкие мнения, но все было для пользы дела, и общаться с коллегами было интересно. Даже в советское время, при всем идеологическом контроле и давлении, в институте можно было спокойно заниматься наукой. Безусловно, от нас требовали «фундаментальных» и «актуальных» трудов, но мы часто выходили из положения, приписывая к их названиям «идеологические хвосты» типа «... в свете нового этапа идеологической борьбы». У нас с Николаем Ивановичем Балашовым (позднее ставшим академиком) сложились хорошие отношения, и административные дела с ним и со Славой Бэлзой делались легко, оба были людьми с большим чувством юмора.

Мое появление вызвало интерес среди местного мужского населения, разумеется (как всегда) определенного рода. В институте было много хороших секретарш, и Слава, не обделявший их вниманием, видимо решил, что их полку прибыло, и предложил мне не особенно мучиться над планом – он меня всегда прикроет. Люди самых разных возрастов и статуса приглаша-

ли меня в Дом литераторов, на дачу и в театр. А главный «жизнелюб» провел со мной разъяснительную беседу на тему «я не туда иду». Ее подтекст заключался в том, что я несомненно стремлюсь к успеху и красивой столичной жизни, но ложно решила, что добиться этого можно научными заслугами, а есть путь гораздо более прямой, легкий и приятный – через поклонников, которые могут повести в престижные клубы и рестораны, помочь с заграничной командировкой, познакомить со знаменитостями. Вообще, меня принимали поначалу за наивную провинциальную дурочку, воображение которой можно потрясти кожаным пиджаком и билетом члена Союза писателей. Все это было бы оскорбительно, если бы не было смешно.

Я активно писала в труды американской группы, став наконец ее полноправным членом. Со всеми у меня сложились ровные отношения, с кем-то приятельские. Даже те, кто меня поначалу недолюбливал или относился ко мне свысока, со временем смягчились и меня признали. Я мечтала о собственной монографии, но в те времена монография считалась наградой и давалась обычно после 15 лет пребывания в институте, старшего же научного давали и вовсе почти перед пенсией. О командировке в Америку можно было только мечтать, туда из группы ездили только партийные и благонадежные Засурский, Чаковский и Ващенко. Саша Ващенко этого стеснялся и как-то конфиденциально предложил мне помочь со вступлением в партию, что открыло бы мне зеленый свет, но сам все понял, сказав «ты, наверное, не захочешь вступать только ради поездок». Я не захотела.

Гуманитарный, а стало быть, идеологический институт был под неусыпным оком соответствующих органов. Не оставили они своим вниманием и меня как вновь поступившую. При всей своей наивности я сразу поняла, кто меня проверял под видом любезных поклонников, заводящих скользкие разговоры (почему-то в основном об украинском национализме), и «играла дурочку», сводя все к шутке. Не знаю, почему, но я всегда была напрочь лишена страха, присущего старым интеллигентам, для меня эти органы просто не существовали, я от них абстрагировалась. Меня удивляла настороженность, с которой поначалу относились ко мне коллеги, когда я что-то сбалтывала, они, скорее всего, считали это провокацией. Помню, как-то я обедала за одним столом с академиком Виппером и нашей сотрудницей, Натальей Федоровной Ржевской, которая вела довольно вольную беседу к явному беспокойству и неудовольствию Виппера, бросавшего на меня виноватые взгляды. Потом она призналась, что он отчитал ее за откровенность в присутствии непроверенного человека. Был один странный случай. Из-за неважной памяти я завела ежедневник, куда записывала все предстоящие дела и пришедшие в голову мысли. Приходили они внезапно, поэтому я часто вытаскивала записную книжку из сумочки. Один раз заметила, что этим явно заинтересовался один наш сотрудник, по слухам, имевший отношение к «конторе». А где-то через неделю я обнаружила, что книжка пропала. Мог-



ло это произойти только в универмаге, куда я заехала перед работой. При этом кошелек был цел, так что, скорее всего, я ее просто выронила, доставая деньги. Еще через неделю мне позвонили, и какой-то мужчина спросил, нужна ли мне записная книжка, которую он нашел в метро (но я в тот день ездила исключительно на наземном транспорте!). Я обрадовалась, мы встретились, внешность его оказалась очень типичной для работника органов, смотрел он на меня очень пристально.

Где-то в 1979 году в наш институт позвонили из академического профкома и предложили горящие путевки в круиз вокруг Европы, несколько человек подали заявки, и я в том числе. На партсобрании, где должны были дать рекомендацию, пришлось испытать унижение, впрочем, особенно меня не удивившее. Одна из шибко партийных дам (человек явно не «имлийский») стала высокомерно интересоваться, на какие деньги я собираюсь ехать, если я только младший научный сотрудник. Все прочие претенденты были на той же должности, но вопросов почему-то не вызвали. Как мне объяснила моя приятельница, эта «гражданка Парамонова», скорее всего, решила, что смазливая молодая дамочка нашла себе богатого покровителя и нагло решила прокатиться за его счет. Круиз оказался дезинформацией. Но за границу нужно было попасть обязательно, причем, согласно неписаному правилу, первые два раза – в социалистическую страну. Только так я могла надеяться пробиться в Америку. Наш институт был тесно связан с Союзом писателей, и мы имели квоту в 2-3 человека на туристические поездки, организуемые Союзом. Так в 1980 году мне удалось попасть в первую зарубежную поездку по Венгрии. Интересный случай произошел в райкоме партии, куда я была вызвана на обязательное собеседование. Один из старых большевиков спросил, почему я еду в Венгрию, если занимаюсь американской литературой. И ведь нельзя было в ответ сказать, что я еду туда как турист, а не в командировку, и что я готова поехать в Америку хоть сейчас, такая ирония сделала бы меня неблагонадежной – умничать в сакральных стенах райкома не полагалось. Поразительным было лицемерие этих людей. В райкоме я видела, как отчитали девушку, пришедшую в столь святое место в брюках, и в то же время слышала, как за стенкой играющие в бадминтон партийцы ругались матом.

Раньше я даже мечтать не смела о том, что попаду за границу, она была так же недоступна, как Луна или Марс. Поэтому, выйдя из поезда на будапештском вокзале, я испытала какое-то непередаваемое чувство свершившегося чуда. И первое впечатление от города – герани на балконах и окнах, витрины магазинов и кустарных лавочек, непохожая на нашу атмосфера жизни, в которой больше энергии, цвета, открытости, радости. Следующим моим выездом за границу была командировка с Майей Кореновой в Берлин, у нас был совместный проект с местным Институтом литературы. Потом я ездила с Союзом писателей в турпоездки по Греции, Англии и Испании.

Помню ощущение полного счастья, когда нас из афинского аэропорта привезли в Пирей на обед в маленький ресторанчик на набережной. После московской ноябрьской погоды – солнце, синее море, цветы, жаровня, где готовят только что выловленную рыбу, попугай в клетке, красавец-гид Никос (Римма Казакова положила на него глаз, поинтересовавшись у меня, не собираюсь ли я «им заняться»). Все казалось нереальным, а среди развалин Олимпии я испытала мистическое чувство одномоментного присутствия всех времен и эпох. Англия для меня была путешествием в любимые книги. Потрясла своей жизненной энергией Андалусия. Мы попали в Гранаде на праздник Корпус Кристи, когда после процессии вечером на улицах шло народное гулянье. Горожане были в ярких национальных костюмах, звучала музыка, все, даже крошечные дети, одетые по-взрослому, танцевали фламенко. Это невероятно волновало и трогало, я взглянула на своих попутниц, у всех этих советских женщин, замученных нашим тяжелым и скучным бытом, текли по щекам слезы – они явно оплакивали свою серую жизнь, увидев, какой яркой она может быть.

При советской власти я еще ездила по профсоюзной путевке в Польшу и Словакию, где познакомилась с тремя научными дамами-биологами, которые впоследствии стали моими компаньонками и по другим поездкам. Но самой замечательной была поездка в Японию в 1985 году. Вова получил на год стажировку в эту страну и, по существующим тогда правилам, я имела право поехать к нему на месяц. Стоило это много крови и нервов. Оформлял меня в Управлении Академии Наук некий гнуснейший тип, типичный представитель своего ведомства, грубый, высокомерный, бесчеловечный, сразу взорвавшийся при словах «я имею право» и заявивший, что никаких прав у меня нет, а все решает он. Меня долго муржили, но потом внезапно стали исключительно любезными. Я не могла понять, в чем дело, но институтский начальник иностранного отдела, смеясь, признался, что, желая мне помочь, намекнул, что я племянница большого украинского начальника по фамилии Стеценко, что, слава Богу, было неправдой. Как потом мне объяснили, от меня просто ожидали взятки. Затем неожиданные препятствия возникли со стороны Японии. Уже была назначена дата моего приезда и куплены билеты, но накануне вечером (раньше в советское время документы не выдавали) визы не оказалось. Пришлось сдать билет, потеряв пятую часть стоимости. А дальше нервные 20 дней ожидания визы, ежеминутная надежда на звонок из Управления. Скорее всего, дело было в том, что наши не дали визу какому-то японцу, и японская сторона предприняла ответную акцию. Наконец, долгожданный звонок раздался, я бросилась в «Аэрофлот» и в Президиум АН и на следующее утро улетела в Токио.

Это была первая индивидуальная поездка за границу, без надзора советских спецслужб, когда можно было жить своей частной жизнью и свободно передвигаться по стране. Вова снимал маленькую квартирку, отмыванию ко-

торой я посвятила первый день своего пребывания. Мы путешествовали, как «белые люди», обошли весь Токио, объездили все его живописные окрестности, побывали в Киото, Осаке, Хиросиме, Сэндае, Камакуре и в самых красивых местах Японии, согласно туристическому справочнику, – в Мацусиме, Миядзиме и Аmano-Хасидате. Этот своеобразный мир произвел на меня огромное впечатление, пожалуй, ни в одной стране не чувствовала я такого духовного умиротворения, не видела такого эстетизированного ландшафта. Останавливались мы чаще всего в маленьких национальных гостиницах-рёканах, типичных японских домах, спали на татами, одеваясь в ночные кимоно, ели японскую еду. Были на многих праздниках, устраиваемых в разных районах Токио, поднимались в горы, посещали озера и храмы. Вторая наша с Вовой месячная поездка в Японию состоялась в 2001 году, но она ограничилась жизнью в Токио и работой в университетской библиотеке. Однако мне удалось захватить цветение сакуры, глицинии, азалий и ирисов.

Я вернулась в Москву в конце мая (Вова еще оставался в Японии) и на следующий день, сидя у телевизора, слушала ленинградскую речь Михаила Горбачева, первую человеческую речь из уст генерального секретаря ЦК КПСС. Это трудно объяснить рационально, но моей первой реакцией было чувство какого-то инстинктивного страха, как будто я ощутила движение истории, сулящее неопределенное будущее. Но было и чувство восторга – наконец, заостеневшая в тупом догматизме и бездушном бюрократизме страна сдвинулась с места, появилась надежда на пока еще неясные перемены. На самом деле, я предчувствовала нечто подобное, так как безжизненность и уродство советской системы становились очевидными не только таким, как я. Жить стало интересно, настоящим праздником было чтение газет и журналов. Невероятно, но я даже купила книгу Горбачева – впервые у партийного лидера появились идеи, а не унылое начетничество.

В 1986 году на майские праздники мы с Вовой, как всегда, собрались в гости к родственникам в Киев. 28-го апреля мне позвонила Денисова и посоветовала подумать, стоит ли ехать, поскольку всю ночь из Дарницы на правый берег Днепра шли грузовики и было очевидно, что произошло что-то серьезное. Официально в газете «Известия» было одно короткое сообщение о неполадках на Чернобыльской АЭС. По моей просьбе знакомые связались со своим родственником-ядерщиком, который сказал, что подобные аварии, как правило, устраняются в течение трех дней, и мы можем спокойно ехать. Так мы и поступили. Видно, мне суждено было разделить несчастье моей родины, судьба привела меня в Киев в самый его тяжелый момент. Прекрасная киевская весна в эти дни была особенно интенсивной и яркой – подпитываемые энергией радиации бурно пошли в рост растения, цветы, листва, трава, солнце жгло в пронзительной синеве неба, это был праздник жизни, таящий в себе смертельную опасность. Люди вышли на демонстрацию, гуляли по паркам, ездили на Днепр, брали с собой детей. Мы ходили

по центру, бродили по Ботаническому саду, разве что поглядывая на облака, чтобы проверить, со стороны ли Чернобыля дует ветер. А вечером пришли к Хотяинцевым, Сережа достал дозиметр и проверил наши волосы и обувь – все зашкаливало. Официальных предупреждений не было никаких, но по городу ползли слухи, что нужно пить йод, и он мгновенно исчез в аптеках. Говорили, что вся украинская партийная верхушка вывезла своих детей на самолетах в Москву. Советовали по вечерам стирать всю одежду и мыть голову. Не исключено, что эти слухи распространяло КГБ. 5-го мая мы вернулись в Москву, а уже через день, возвращаясь с работы, я увидела у своего дома семью моего двоюродного брата Саши. Накануне начался исход из Киева детей, которых родители пытались вывезти к родственникам в другие города и на отдых. Сашина семья прожила у нас до зимы, его дочка училась в ближайшей школе.

19-го августа 1991 года в семь утра нам позвонила Вовина тетушка и сообщила, что Горбачева сняли, а по ее Конюшковской улице в сторону Белого дома идут танки. В 12 часов у меня было заседание в институте, я позвонила своему заведующему Валерию Борисовичу Земскову и предложила отменить встречу в связи с событиями, но он только посмеялся, не относясь ко всему происходящему серьезно, и я поехала на работу. Настроение у меня было ужасное, отчаяние усилилось еще от того, что в автобусе царил полная тишина, никто не обсуждал события, хотя нам навстречу шли танки. Было понятно, что люди обреченно поверили в возвращение прежней власти и вернулся прежний страх. Особенно отвратительно было слышать по телевизору стандартную советскую ложь о болезни Горбачева, подразумевающую, что население – стадо тупых и покорных баранов. Конюшковскую улицу я перебежала между идущими танками.

На 20-е число у нас были билеты в Киев, мы все-таки решили ехать, а не идти со всеми к Белому дому, что тогда мучило мою совесть и чему сегодня я только рада. Наверное, мыслящим людям никогда не нужно быть в толпе, часто не подозревающей, что ею манипулируют корыстные политические силы. Ночью в поезде я почти не спала, а приехав в квартиру киевской тетушки, сразу бросились к телевизору и потом от него практически не отходила, даже на даче. Увидев, как сбрасывают памятник Дзержинскому, я расплакалась, и мы с Ирой с радостью повторяли «дожили, дожили» и жалели, что это не привелось увидеть нашим родителям. Ведь советская власть казалась вечной. Правда, распад СССР и объявление независимости Украины несколько сдержали мои восторги, для меня Россия и Украина были единой родиной, я вовсе не хотела оказаться иностранкой в своем Киеве и ездить туда по визе.

Началась новая эпоха. Какой радостью было читать в прессе то, о чем всю жизнь приходилось молчать. И это для меня было главным, помогало легко пережить и потерю всех родительских денег, и зарплату в 12 долла-

ров, и страх перед вечерними улицами, и пустые магазины. Ведь именно на криминальные 90-е пришлось бурная интеллектуальная жизнь, свобода выбора тем в институте, поездки на конференции и в длительные командировки за границу, работа в американских библиотеках, возможность писать монографии и защитить докторскую. К сожалению, одновременно росло разочарование в людях, даже в лучших из них. Поражала легкость, с которой человек, год тому назад уверявший, что «впитал социалистические идеи с молоком матери», называл себя «ярким демократом». Очевидно, что на самом деле он был «ярким конформистом» и обывателем, заботящимся исключительно о собственном благополучии. Некоторые верные коммунисты начинали с трибуны с той же искренностью говорить о построении нового «светлого будущего», так ничего и не поняв. Но больше всего меня огорчило то, что, получив полную свободу творчества, сотрудники, вместо того, чтобы коллективно заняться новыми проектами, начали по одиночке разбегаться. Хотя институт остался местом, где можно было в наибольшей мере реализовать себя ученому, он потерял прежний престиж и материальную привлекательность. Наука оказалась в загоне, перестала давать высокий социальный статус и приличные деньги. Некоторые уходили в бизнес, другие на преподавательскую работу, на телевидение. А были такие, кто просто предал и институт, и коллег, отказавшись создавать идеологизированное литературоведение в родных стенах, и перешли в РГГУ, куда их переманили высокими зарплатами и идеей создания некоего интеллектуального заповедника, созданного для избранных. В 2010-е годы место РГГУ заняла Высшая школа экономики, куда ушла новая волна молодежи. Таким образом, «не призванные» оказались людьми второго сорта, обреченными прозябать в стареющей и умирающей Академии наук. Но многие, и далеко не худшие, остались, хотя институт значительно сократил свою численность. Из американской группы ушли Зверев, Ващенко, Чаковский, Шемякин, Якименко; многие девицы вышли замуж за иностранцев. Пополняться она начала только в начале 2010-х годов. И при этом все же удалось осуществить грандиозный проект – издать 6-томную «Историю литературы США», работа над которой в советское время периодически тормозилась неблагоприятной политической конъюнктурой.

Впервые я попала в Америку только в 1989 году. Мы, Зверев, Земсков, Ващенко и я, поехали на конференцию в городок Ада, штат Огайо, добирались через Нью-Йорк, причем с большими приключениями. Билеты достать было невозможно, накануне отъезда Саша Ващенко поехал в Шереметьево в надежде купить продаваемую за сутки перед вылетом неиспользованную бронь. В 10 часов утра он мне неожиданно позвонил и сказал, что есть билеты прямо на сегодня, рейс через полтора часа. Я в это время сидела с накрашенной головой, чемодан сложен не был, Зверев тоже еще не собирался, а телефон Земскова не отвечал – он еще не проснулся. До него мне удалось

дозвониться только в 11 часов. Все примчались на такси только к часу, спасло нас то, что рейс на пару часов отложили. Прилетели ночью, в гостиницу ехать не имело смысла, так как она была заказана только на следующий день, а денег у нас не было. Мой двоюродный брат Никита на звонки не отвечал, он был за городом. Аэропорт закрывался – там нет традиции ночных сидений в ожидании рейса. Саше все-таки удалось дозвониться до нашего посольства и, о чудо! – за нами приехала машина и отвезла нас в здание консульства, где нас расселили по комнатам. А утром мы поехали в свой отель, где нас дожидался Ясен Николаевич Засурский. День гуляли по Нью-Йорку, а потом перелетели в Аду, университетский городок, где единственная достопримечательность – пожарная каланча. Темп нашего визита был очень напряженный, это была «перестройка, гласность, Горбачев», русские были в страшной моде на Западе. Нас таскали по встречам, интервью, лекциям, записывали на телевидении, кормили в ресторанах. В Москву я прилетела настолько уставшей, что прямо свалилась на кровать и проспала целые сутки. На обратном пути случился казус. Саша Ващенко купил в дыоти-фри виски для отца, а бутылку, по довольно странным правилам, должны были поднести ко входу в самолет, но почему-то принесли только ко входу в «кишку». Саша вышел из самолета, а обратно его отказались пустить, так как посадка закончилась, и он остался в аэропорту без пиджака, хорошо, что с документами. Его место было рядом со мной, у меня были его пиджак и сумка, и это я заставила его все-таки прихватить с собой билет и паспорт. К моему страшному удивлению, на его место посадили какого-то мужчину, не став слушать мои возражения. В Москве мне пришлось снимать с ленты и тащить к себе домой его багаж. Жена Зверева в аэропорту удивилась – «ведь вас, кажется, уезжало четверо, а приехало трое», на что Зверев безмятежно ответил: «Один из нас выбрал свободу». Саше удалось улететь следующим рейсом.

В Америке мне удалось побывать еще трижды. У нас была тесная связь с Центром по изучению культуры Юга в Оксфорде, штат Миссисипи, родном городе Фолкнера. Две конференции проходили в Оксфорде и Джексоне, вторая была по творчеству Юдоры Уэлти. Мне удалось познакомиться с этой замечательной писательницей, я жила в доме ее компаньонки-секретаря, мы даже вместе ехали на конференцию. Потом была трехдневная поездка с Биллом Феррисом, директором центра, по Миссисипи и Теннесси – имению модного афроамериканского писателя Алекса Хейли (автора романа «Корни»), катание на его скутере по озеру в горах, посещение имения матери Билла (его дед был крупным плантатором), хлопковые поля, колибри, пруд с аллигаторами, особняк с колоннами, брат Билла, сенатор от штата. Была поездка и в Новый Орлеан, в дельту Миссисипи. В Джексоне я жила в семье хирурга, он показал мне свою больницу с компьютеризированными палатами, где были комнаты для родственников. А его жена повезла меня на экскурсию

по городу, который был четко разделен на районы миллионеров, высшего и низшего среднего класса и бедноты, отличавшиеся и домами, и жителями. С таким делением я потом столкнулась и в Чикаго – на севере жила приличная публика, на юг же мне даже не рекомендовали ездить в метро, там было опасно. Я поняла, что американское понимание демократии сильно отличалось от нашего, там предполагались равные права и возможности, но никому бы и в голову не пришло селить рядом с профессором, врачом и адвокатом наркомана и уголовника, тем более в одну квартиру.

У Майи Кореновой и меня был общий «женский» проект с американскими учеными дамами из Аризонского университета, русисткой Адель Баркер и американисткой Сьюзен Айкен. Работа над этим трудом раскрыла мне особенности американского характера и отношение американцев к европейцам, прежде всего к русским. Мы были в моде, и хотя отношение к нам было дружеским, в нем все же сквозило превосходство, причем не столько снисходительно-высокомерное, сколько сочувственно-доброжелательное. Наши соавторы признавали наш интеллект и профессионализм, но все же воспринимали нас как людей недемократической культуры, мышление которых травмировано тоталитарной идеологией. Мы на равных вели и записывали наши научные диалоги, потом они (поскольку книга издавалась в США на английском языке) их компоновали и редактировали. В результате получилось не совсем то, что мы ожидали. Наши слова передавались точно, но в таком контексте и с таким комментарием, что получали какой-то другой оттенок смысла, сводящийся в целом к идее трансформации нашего сознания, когда мы впервые вкусили свободу и приобщились к подлинной американской демократии.

С Аделью, моей сверстницей, имевшей приемного сына из Боливии Ноя, мы сохранили дружеские отношения на всю жизнь. Благодаря этому проекту, результатом которого стала объемистая книга, мы побывали в Аризоне, а я еще получила два гранта на работу в университете Сиэтла (куда на год переехала преподавать Адель) и в библиотеке Ньюберри в Чикаго (там меня опекал русист Ирвин Вайл). В Сиэтле, городе «странных» людей, Адель познакомила меня со своими приятелями – Сабриной (за год до этого еще бывшей женщиной, преподавателем сербской литературы), ее сожительницей-лесбиянкой и престарелым геем. Наверное, я слишком консервативна, но гораздо большее удовольствие мне доставило общество Блоссом, собаки Адели, с которой я оставалась на две недели, когда Адель с Ноем уезжала в Туссон. Я набирала книги в библиотеке и днем сидела на террасе с Блоссом, любуясь видами одноэтажного Сиэтла, утопавшего в цветущих дог-триз.

Из Сиэтла в Чикаго и обратно я решила проехать на Грейхаунде, автобусе, колесящем по всей Америке. Все знакомые Адели были в ужасе, таким видом транспорта пользовался почти исключительно «низший средний

класс» (билет из конца в конец и обратно стоил всего 105 долларов), меня могли «огрбить и убить», и поездка могла быть «очень депрессивной». Действительно, попадались явно деклассированные элементы, удивительно напоминавшие и внешностью, и манерами наших люмпенов, только говоривших по-английски, но основную публику составляли старушки, едущие на небольшие расстояния в гости к детям, или бедные семьи с детьми, черные и чиканос. Конечно, было нелегко провести в автобусе на узком кресле трое суток, но зато я увидела провинциальную Америку и ее потрясающие разнообразные ландшафты.

В ветреном, промозглом весеннем Чикаго я вела очень размеренный образ жизни. Жила в доме адвоката на конечной станции северной электрички, откуда до дома было 4,5 километра. Автобус ходил, но только до 19.30, и, если я задерживалась, приходилось идти пешком – я была единственным прохожим на пустых улицах. Но в этом богатом районе было безопасно, там даже двери не запирали, и с южных окраин туда никто не приезжал. Целыми днями я читала в библиотеке манускрипты XVII-XVIII веков (я писала книгу о путевых записках первопоселенцев Новой Англии), по выходным ходила в музеи, гуляла по городу. Один раз вместе с артистом Вениамином Смеховым и его женой Галиной встречалась со студентами Эванстонского университета. Смехов почти не говорил по-английски, поэтому текст его лекции зачитывала Галя.

Какие у меня самые общие впечатления об Америке? Прежде всего, интуитивное чувство, что это чужая для белого человека земля и что ее подлинными хозяева, гармоничные с ее природой, – индейцы. Открытием стало то, что пресловутый американский индивидуализм оказался дополненным полным конформизмом, стадностью и несамостоятельностью мышления. Американец всегда старается делать то, что принято в данной ситуации, и думать так, как должно, полностью доверяя общему мнению, средствам информации и государственной политике. Переубедить его, как правило, невозможно. Американцы нетерпимы к нарушению всяких правил и законов, но в целом это народ доброжелательный и отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь. В нем нет подозрительности и озлобленности, которая, к сожалению, присуща советскому варианту русских. Для меня все же главная прелесть Америки не в ее богатстве и современных технологиях, небоскребах и машинах, а в роскошной природе, которая поражает своей мощью, масштабами и многообразием. Этим она напоминает Россию, если проехать ее от Калининграда до Петропавловска-на-Камчатке, а мы с Вовой это сделали, были и на Сахалине, и на Енисее, и на Байкале, и в Средней Азии.

Если считать Россию и Украину, то была я до сих пор в 61 стране, в которых – по несколько раз. Дважды по месяцу жила в Берлине, работая в библиотеке Открытого университета, провела две недели на семинаре в замке Леопольдскрон-шлосс в Зальцбурге, ездила на конференции Евро-



пейской ассоциации американистов. Два месяца жила в Вассенаре, местечке между Лейденом и Гаагой, в пяти километрах от моря, где находился NIAS, институт, приглашающий ученых из стран Восточной Европы для работы над своими темами. Объездила всю Голландию и Бельгию. На следующий год после меня там побывал и Вова.

Но самые сказочные воспоминания о жизни за границей – принадлежащая Центру Рокфеллера вилла Сербиллони в городке Белладжио на озере Комо рядом с Миланом. На эту виллу приглашаются выигравшие грант интеллектуалы из разных стран, ученые, писатели, политики, художники, музыканты, архитекторы, там они живут, работают над своими проектами и общаются между собой в течение месяца. Каждый может за счет гранта взять с собой мужа или жену (или партнера, неважно какого пола). В старинном здании, построенном на месте виллы Плиния младшего, созданы все условия для идеальной, безбедной, беззаботной и насыщенной творчеством жизни. Усадьба расположена на гористом мысу, покрытом пиниями, в роскошном лесопарке есть скалы, гроты, пещеры, статуи, розарий, цветники. В комнатах старинная мебель и в то же время современные компьютеры. С балконов открывается вид на озеро, Альпы, виллы (перед нашими окнами виднелись вилла «Шарлотта» с необыкновенным азалиевым садом и вилла «Маргарита», где Верди написал второй акт «Травиаты»). Каждый день ресторанная еда, светский ужин, аперитив, лекции, беседы. Мы с Вовой много гуляли по соседним деревням и горам, ездили на пароходике по озеру, были в Милане и Бергамо. На мой день рождения были шампанское и именинный торт, мне подарили альбом, посвященный вилле, два пианиста-американца играли для меня в четыре руки русскую классику, вставляя в пьесы мелодию “happy birthday to you”.

Вообще отношение ко мне американского и европейского бомонда как к русской было показательно. В первый же день, встретив нас с Вовой в парке, американская пара, стэнфордский профессор и его жена-галеристка, спросили, откуда мы, и с удивлением воскликнули: «Вы русские? Но вы же так хорошо выглядите!». Я поинтересовалась, что они ожидали увидеть. Оказывается, «бабушку в платочке», одетую в сельский наряд. Я порадовалась, что притащила с собой в Италию почти весь свой гардероб (а в нем было и несколько платьев, купленных на Пятой авеню в Нью-Йорке), который стал объектом потрясения и восторга моих коллег по вилле. Так же их удивило мое знание английского. Я была горда, что не посрамила родину. Самый большой интерес ко мне проявила американская писательница китайского происхождения Максим Хонг Кингстон, ей была близка тема, над которой я работала, – экологическое сознание в литературе. После Италии мы с ней обменивались книгами и поздравительными письмами. Там я поняла, что европейцы относятся к американцам очень критично, они все время возмущались их высокомерием, непочтением к европейской культу-

ре, развязностью, бесцеремонностью и хвалили меня за то, что я в общении с ними сохраняла чувство собственного достоинства. Наверное, не было в моей жизни более счастливого времени – Италия, кругом сказочная красота, весна, тепло, комфорт, приятное общество, все условия для работы, рядом Вова.

Моя научная биография – пять книг, сотня статей, изданная «История литературы США» в 6 томах. Темы, в основном связанные с историей, философией, социологией; экология, путешествия, история Америки, концепты времени, порядка и хаоса, художественный ритм, традиции, документальная и массовая литература, постмодернизм. Моя научная карьера – младший, научный, старший, ведущий сотрудник и на два пятилетних срока – заместитель директора института, курирующий зарубежные отделы. В свою «команду» меня взял новый директор «из своих», Александр Борисович Куделин, арабист, всю жизнь проработавший в нашем институте и ставший академиком. Он пришел на смену Феликсу Кузнецову и пригласил меня в свои заместители. Почему? По его словам, при консультациях с сотрудниками никто не сказал обо мне ни одного плохого слова. Вообще, при том, что у меня практически не было в институте близких людей, с которыми я бы дружила домами (за исключением Майи Кореневой), на всех голосованиях – на новую должность или в профком – я получала наибольшее число голосов или единственная собирала все голоса. Куделин даже шутил (хотя в этом была доля истины), что, наверное, я плохой администратор, раз за столько лет ни с кем не испортила отношения. Столь же успешно складывалась и карьера моего мужа – крупный лингвист, востоковед, заместитель директора Института востоковедения, затем директор Института языкознания. Как и его мать, был избран членом-корреспондентом РАН.

С наступлением новых времен стал меняться и ИМЛИ, ряды которого значительно поредели. И в высокообразованных кругах человеческая природа не меняется – стало ясно, кто занимался наукой по призванию, а кто – просто ради престижа. Вторые, особенно выходцы из советской номенклатуры, при любой власти стремившиеся плавать наверх, ушли зарабатывать деньги, перейдя в более престижный класс бизнесменов. Некоторые уехали за границу, нашли мужей-иностранцев – это стало модным. И даже те, кто эмигрировать не осмелился, с радостью отсылали своих отпрысков в западные университеты, откуда они редко возвращались. Одним словом, каждый искал, где лучше ему, а «патриотизм» и «общественное благо» были объявлены «советским атавизмом» и преданы осмеянию. Социальное поведение сотрудников во многом зависело от принадлежности к тому или иному поколению. Самыми верными институту оказались прежде всего старики-старожилы, привыкшие всю жизнь напряженно работать и делать академическую карьеру. К ним примыкали «шестидесятники» и многие из моего поколения. Хуже всего было с молодежью, большинство уходило, вновь поступившие долго не задерживались.

У каждого поколения были свои достоинства и недостатки, в каждом были разные люди, и все же характерные типажи были очевидны. «Пуганое» старое поколение сохраняло рудименты интеллигентской психологии и осторожность, не изменяя накатанную колею своей судьбы. Интересно повели себя «шестидесятники», вообще поколение очень противоречивое. В целом будучи критически настроенными по отношению к советской власти и с радостью воспринявшие перемены, они не могли избавиться от романтического идеализма, который я считаю «имманентно ложным образом действительности». Я имею в виду не столько стремление изменить реальность в соответствии с каким-то умозрительным идеалом, сколько игнорирование и искажение ее образа при наложении этого идеала. Немногие из них поняли, что крах их «перестроечных» надежд связан главным образом не с продажной властью и захватившими ее коррупционерами и карьеристами, а с непреложностью объективных законов истории и человеческой психологии. Нельзя отменить абсолютную зависимость формы государственного и общественного устройства от уровня исторического развития сознания и культуры населения. Правы те, кто говорил, что в России можно построить «шведский» социализм, но только где взять столько шведов? Наивные демократы мечтали о свободе, открытых границах, доступе к мировым культурным ценностям и возможности самовыражения, тогда как чаяния простого народа были гораздо проще – их прекрасно выразил один уральский рабочий: «мужику нужны твердый заработок, чтобы прокормить семью, вечером – пиво, а в выходные – рыбалка». Демократы восхищались тем, что европейские старики могут, выйдя на пенсию, путешествовать по миру, а наши старушки вздыхали по советским временам, когда можно было пройти пять километров до магазина в райцентре и купить себе леденцов. Так что, как были наши прогрессивные интеллигенты «страшно далеки от народа», так и остались.

Что касается моего поколения, то охватившая его лихорадка обогащения и потребления не стала для меня особой новостью. Большинство всегда замыкалось в своей семье и частной жизни, это были конформисты, следовавшие принятым в данный момент нормам поведения. Современный капитализм, конечно, лучше советского социализма, хотя бы потому, что исторически обусловлен, а не навязан фанатиками-утопистами, но очевидно, что и он трансформируется и готов уже уступить место какой-то новой формации. В России же его пороки приобрели гротескные формы. Фактически, успех, благосостояние и вес в обществе стали приносить только два вида деятельности, во все времена считавшиеся самыми позорными – спекуляция (наш бизнес) и ростовщичество (наши финансы). Остальное – наука, искусство, медицина, образование и прочее – были объявлены уделом неудачников, лентяев, бездарей и безынициативных людей. Если вы пластический хирург и исправляете носы женам олигархов, слава вам и почет. Если же вы в провинции лечите детей бедных родителей, вы ничтожество.

Мало кто понимал, что в России вместе с эпохой первоначального накопления воцарится буржуазность, столь ненавидимая и высмеиваемая во все эпохи и во всех странах интеллектуалами и гуманистами. Вот эта буржуазность для меня – самая неприятная черта молодого поколения (разумеется, не всего), хотя в разных социальных слоях она проявляется по-своему. У «офисного планктона» критерии жизненного успеха удручающе, карикатурно примитивны – квартира, обязательно переделанная под «студию», огромный загородный дом, построенный в элитном поселке (что меня удивляет – совершенно никто не старается найти живописное место), машина определенной марки (на ней принято ездить на работу, даже если рядом метро, а стояние в пробках занимает часы), покупки продуктов в дорогих супермаркетах (до рынка никто не унижается, и среди лета покупаются импортные глянцевые фрукты), партнеры модельной внешности, отдых на островах, фитнес-клубы и обучение детей за границей. Но это все внешнее – гораздо хуже бессердечность, невероятный эгоцентризм, презрение к старшему поколению как к выжившему из ума и отсталому, убежденность, что мир создан только для них и они должны делать только то, что хотят. С этим, к сожалению, я сталкивалась и в среде научной молодежи, для которой главное – собственные профессиональные интересы и карьера, а все сторонние поручения выполняются крайне неохотно. Это индивидуализм именно буржуазный, имеющий мало общего с интеллигентским персонализмом, всегда направленным к миру.

В новое время заметно обострилось извечное российское противостояние западников и славянофилов, теперь – демократов и патриотов, которое было особенно сильным в гуманитарных сферах. Не состоять в каком-то лагере, а тем более не быть к нему причисленным, было достаточно трудно. К счастью, в обоих станах было немало людей, объективно оценивающих ситуацию, умеющих сохранять разумный баланс и терпимость. Но были и абсолютные фанатики, испытывающие ненависть друг к другу.

Не знаю, договорятся ли когда-нибудь эти антагонисты и, главное, будет ли найден какой-то разумный компромисс. Пока одни хотят перекроить жизнь в стране на западный манер, другие – навечно оставить все без изменений. К счастью, значительная часть моих коллег сохраняет здравый смысл и ищет здоровую середину, не бросаясь в крайности, но в целом у демократов институт не считается передовым учреждением, так как пытается бороться за сохранение Академии наук и отечественных научных школ.

В ИМЛИ я поняла, каким многомерным и противоречивым может быть человек. Среди моих сотрудников мало ординарных людей – сама профессия требует достаточно высокого интеллекта и развитого личностного начала. С талантливыми людьми очень непросто, как правило, они очень эгоцентричны, самолюбивы и трепетно относятся к признанию их заслуг. Часто способности, характер и нравственные качества несоразмерны, и про-

сто диву даешься, как тонко чувствующий и, казалось бы, все понимающий аналитик и эстет может проявлять мелочность, обидчивость, бестактность или совершать безнравственные поступки, как какой-то рядовой обыватель. За обаятельной дружеской доброжелательностью вполне могут скрываться равнодушие и холодность, и, напротив, замкнутые, малоприятные нелюдими оказываются способными на сочувствие и заботу.

Партийная борьба особенно разгоралась во время выборов в Академию наук, и в советское время бывших ареной жестоких боев и интриг. Невестка и жена избираемых и выборщиков, я в течение нескольких лет имела возможность наблюдать за этой человеческой комедией и всегда жалела, что не обладаю пером Гоголя или Салтыкова-Щедрина, чтобы ее описать. Мне рассказывали, что мальчики из «конторы», поставленные на прослушивание телефонных разговоров академиков и член-корроров (это было обязательным), во время академических выборов просто умирали со смеху. В ход пускались откровенная лесть, слезные просьбы, взятки, если не деньгами, то билетами на кинофестиваль, дефицитными путевками и продуктами, а иногда даже картинками и каракулевыми шубами, бывало, и молодыми женами. Потом все в основном перешло на партийные рельсы. В академических мозгах просчитывались различные расклады и ходы, велись переговоры, где обсуждались стратегия и тактика, шли на взаимовыгодные уступки, сделки и компромиссы, одних «пускали», других «придерживали». Претенденты быстро лепили и издавали сборники ранее опубликованных работ, чтобы между выборами появилось что-то новое солидного объема. И самое удивительное, что при этом все же проходили серьезные ученые и достойные люди (хотя еще больше оставалось за бортом).

Как все люди, которые знают, что скоро уйдут, я научилась ценить каждую минуту, радоваться вещам, которые раньше не замечала. Уже многих близких мне людей нет, в том числе и моих ровесников, и я радуюсь, что еще могу видеть то, что они уже никогда не увидят.

Зачем я написала эти воспоминания и для кого? Это просто, с моей точки зрения, короткий очерк нравов моего времени и повесть о том, как нелегко человеку, воспитанному в традициях уничтоженной культуры, жить в культуре, для него чужой. Возможно, лет через 200 это будет интересно будущему социологу и историку. Кроме того, я хотела сохранить память о поглощенных временем местах, событиях и людях. Жизнь, конечно, тяжела, иногда невыносима, но (банальная мысль) она все же прекрасна – мир такой многообразный, и в нем есть какая-то тайна. Я хочу уйти с любовью к нему и с благодарностью за прожитую жизнь, какая бы она ни была. Единственное сожаление – что нельзя возвращаться хотя бы раз в сто лет и узнавать о том, как дальше развивалась человеческая история и что нового узнала наука.